

Карантин

Автор:

Александр Грин

Карантин

Александр Грин

«Сад ослепительно сверкал, осыпанный весь, с корней до верхушек, прозрачным благоуханным снегом. Зеленое озеро нежной, молодой травы стояло внизу, пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине. Свет этот, подобно дождевому ливню, катился сверху, заливая прозрачный, яблочный снег, падая на его кудрявые очертания, как золотистый шелк на тело красавицы. Розоватые, белые лепестки, не выдерживая горячей, золотой тяжести, медленно отделяясь от чашечек, плыли вниз, грациозно кружась в хрустальной зыби воздуха. Они падали и реяли, как мотыльки, бесшумно пестря белыми точками нежную, тихую траву...»

Александр Степанович Грин

Карантин

I

Сад ослепительно сверкал, осыпанный весь, с корней до верхушек, прозрачным благоуханным снегом. Зеленое озеро нежной, молодой травы стояло внизу, пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине. Свет этот, подобно дождевому ливню, катился сверху, заливая прозрачный, яблочный снег, падая на его кудрявые очертания, как золотистый шелк на тело красавицы. Розоватые, белые лепестки, не выдерживая горячей, золотой тяжести, медленно

отделяясь от чашечек, плыли вниз, грациозно кружась в хрустальной зыби воздуха. Они падали и реяли, как мотыльки, бесшумно пестря белыми точками нежную, тихую траву.

Воздух, хмельной, жаркий и чистый, нежился, греясь в лучах. Яблони и черемухи стояли как замороженные, задремав под гнетом белого, девственного цвета. Мохнатые, бархатные шмели гудели певучим баском, осаждая душистую крепость. Суетливые пчелы сверкали пыльными брюшками, роясь в траве, и, вдруг сорвавшись, быстрой, черной точкой таяли в голубизне воздуха. Надсаживаясь, звонко и хрипло кричали воробьи, скрытые темной зеленью рябин.

Маленький сад кипел, как горный ключ, дробящийся червонным золотом в уступах гранита, и отражение этого веселого торжества сеткой теней и светлых пятен перебегало в лице Сергея, лежавшего под деревом в позе смертельно раненного человека. Руки и ноги его раскинулись как можно шире и свободнее, темные волосы мешались с травой, глаза смотрели вверх и, когда он закрывал их, свет проникал в ресницы красноватым сумраком, трогая веки. Сладкое бездумье, полное ленивой рассеянности, входило сквозь каждую пору кожи, нежа и расслабляя. Ни одна определенная, беспокойная мысль не гвоздилась в голове, и захотелось лежать так долго, спокойно, пока красный закат не встанет за черными углами крыш и не сделается темно, сыро и холодно.

Трудно было сказать, где кончается его тело и начинается земля. Самому себе он казался зеленью трав, пустивших глубоко белые нити корней в пьяную, рыхлую землю. Корни эти, извиваясь, убежали в самую толщу ее, в сырой и тесный мрак подземного царства червей, жучков и кривых, коричнево-розовых корней старых деревьев, пьющих весеннюю влагу. Растаяв, соединившись с зеленью и желтым светом, Сергей блаженно рассмеялся, крепко, сосредоточенно зажмурился и вдруг сразу открыл глаза. Прямо в них упала голубая зыбь, жаркая и светлая, а в нее, опрокинувшись, тянулись зеленые, трепетные листья.

Он повернулся на бок и стал смотреть в дремучую, таинственную чащу мелкого хвороста, бурых, прошлогодних листьев и разного растительного сора. Там кипела озабоченная суета. Продолговатые, черные жуки, похожие на соборных певчих, без дела слонялись во все стороны, торопливо спотыкаясь и падая. Муравьи, затянутые в рюмочку, что-то тащили, бросали и вновь тащили, двигаясь задом. Закружилась и села бабочка. Сергей деловито нахмурился и

вытянул пальцы, целясь к белым, медленно мигающим крыльям.

– Ах, вы! Пшш! Маленький!..

Всхлопнули руки, и зашумела трава. Сергей поднял брови и оглянулся.

– Чего вы, Дуня? Где маленький?

– Бабочку вашу спугнула! – объяснила девушка, и в ее нежном лбу и линиях губ дрогнули смеющиеся складки. – Ищу вас, а вы – вон он где... Маленький-то – это вы, должно быть, Сергей Иванович... Делать-то вам больше нечего.

– Ну, ладно! – хмуро улыбнулся Сергей. – Что ж такое... Поймал бы и отпустил, ибо сказано: «всякое дыхание да хвалит господу...»

Дуня потянулась, ухватила рукой за черный кривой сук и подняла вверх свое тонкое, правильное лицо, одетое легким, румяным загаром. И в ее черных, спрашивающих глазах отразилось колыхание света, ветра и зелени.

– А вы думали – нет? Ясное дело, что хвалит, – протянула она. – Жарко. Я вам там письмо на столе положила, почтальон был.

– Неужели? – почему-то спросил Сергей.

Он встал, неохотно и сладко потягиваясь. Тонкая, цветная фигура девушки стояла перед ним, и согнутый сук дрожал и осыпался над ее головой мелким белым цветом. Там, откуда он приехал, не было таких женщин, наивных в естественной простоте движений, недалеких и сильных, как земля. Сергей опустил глаза на ее мягкую круглую грудь и тотчас же отвел их. Откуда это письмо?

Смутное, колющее чувство, странно похожее на зубную боль, заняло в нем, и сразу тоскливая, серая тень легла на краски зеленого дня. Каменный город взглянул прямо в лицо тысячами слепых, стеклянных глаз и пестрым гулом ударил в уши. Дуня улыбнулась, и он улыбнулся ей, машинально, углом губ. Раздражая, чирикали воробьи. Девушка отпустила сук, и он зашумел, устремившись вверх.

– Сегодня покатаюсь, – весело сообщила она. – Я, да еще Лина Горшкова, да столяриха, да еще канцелярщик один, Митрий Иваныч... Запоем на всю ивановскую. Гребля только плоха у нас – некому. Кабы не это – далеко бы забрались!..

– Великолепно, – задумчиво сказал Сергей. – Кататься – хорошее дело...

– А...

Дуня слегка открыла рот, собираясь еще что-то сказать, но только положила руки на голову и вопросительно улыбнулась.

– Что – «а»? – подхватил Сергей.

– Вы, небось, ведь не захотите... А то вместях бы... Митрий Ваныч сыграет что... Новая гармонь у него, к весне купил. Трехрядка, басистая... Уж так ли играет – прямо вздохнешь...

Неприятное чувство тревоги наскоро заменилось мыслью, что письмо ведь может быть незначительным и нисколько не страшным. Но идти в комнату медлилось и хотелось разговаривать.

– Ваша любезность, Дуня, – поклонился Сергей, – равняется вашему росту. Но...

Девушка смешливо фыркнула. Задорно блеснули зубы; на смуглых щеках проступили и скрылись ямочки.

– Но, – продолжал Сергей, – никак не могу. К моему величайшему сожалению... Буду писать письма, то да се... Так что спасибо вам за приглашение и вместе с тем – извините.

– Да ведь что ж, как знаете! Я только насчет гребли... Наши-то кавалеры бессовестно обленились... Вози их, чертей эдаких!..

Она сердито улыбнулась, и ее хорошенькое лицо сделалось натянутым и неловким.

«А не поехать ли в самом деле? – подумал Сергей. – Что ж такое? Будут визжать, брызгаться водой, петь и щипаться. „Митрий Ваныч“ разведет свою музыку. Еще стеснишь ведь, пожалуй. Нет, уж...»

Но тут же он увидел лодку, девушку, сидящую рядом, и мысленно ощутил близость ее стройного, дразнящего тела.

«Нет, как-то неудобно», – сказал он себе еще раз и с тоской вспомнил письмо. И вместе с этим угасло желание чего-то бездумного и молодого.

– Пойти! – обронила Дуня. – Самовар поставить да мясо искрошить...

Девушка повернулась и удалилась быстрой, плавной походкой. В проломе старого, серого плетня, заменявшем садовую калитку, она обернулась и скрылась. Через минуту из белого, бревенчатого домика вылетел ее звонкий крик, раздались шлепки и отчаянный детский плач.

II

Сергей поднялся на крыльцо и ступил в сумеречную прохладу сеней. У дверей его комнаты, низеньких и обшмыганных, заслонив их своим телом, Дуня, согнувшись, удерживала за руки пятилетнюю сестренку Саньку, упорно желавшую сесть на пол. Ребенок пронзительно кричал, дергая во все стороны босыми, грязными ножками; платье его сплошь пестрело свежей, мокрой грязью. Заметив Сергея, Санька сразу утихла, всхлипывая и враждебно рассматривая фигуру «дяди» вспухшими, красными глазками. Дуня посторонилась, подымая напряженное, вспотевшее лицо.

– Гляньте, гляньте, что делает! Ишь ведь, ишь! Мука ты моя мученическая! Сладу никакого с ей нет... Просто наказание божеское!..

Торопливо подоткнув сбившуюся юбку, она мельком взглянула на Сергея и снова принялась возиться с Санькой, заголосившей еще громче и отчаяннее. Юноша отворил дверь и прошел в комнату.

После влажной, весенней жары и пестрого блеска, глаза приятно отдыхали, встречая стены, и легче было дышать. Белая занавеска, колыхаясь, закрывала окно; сквозь ее узорчатую сеть смутно виднелась освещенная, пыльная дорога улицы и маленькие домики с кирпичными низами, в серых, похожих на шляпы крышах. Кое-где пестренькие, дешевые обои скрывались яркими олеографиями под стеклом, в черных, узких рамах. На зеленом ободранном сукне раскрытого ломберного стола лежали книги, привезенные Сергеем, и стоял письменный прибор, пестрый от чернильных пятен. Четыре желтых крашенных стула торчали вокруг стола и коричневого комода, а на полу тянулась запачканная холщовая дорожка.

Письмо синело на столе, в широком конверте. Сергей взял его и некоторое время с тревожным чувством досадливого нетерпения разглядывал резкий, безразличный почерк адреса. Старое желание выяснить себе и другим результат этих двух месяцев добровольного изгнания снова вспыхнуло и оборвалось чувством смутной, колеблющейся боязни. Слегка взволнованный, как будто простой, синий конверт донес и бросил ему в лицо старые, огненные мысли, забытые в городе, разбив несложную гамму весенних дней, – Сергей разорвал письмо и вынул тонкий, хрустящий листик. Нетерпеливо скомкав глазами неизбежный обывательский текст, маску настоящего смысла, он зажег свечку в медном, позеленевшем подсвечнике и поднес бумагу к огню, нагревая чистую, незаписанную сторону. Она коробилась, желтела и ломалась, но упорно молчала, как человек, не желающий поведать тайну, вверенную ему. И только тогда, когда пальцы Сергея заняли от огня и он хотел уже убрать их, – на бумаге выступили коричневые точки. Они ползли, загибались и, прежде чем последняя буква облеклась в плоть и кровь, Сергей уже знал, что завтра придет кто-то имеющий отношение к его судьбе, а потом надо будет уехать и умереть.

Сначала он прочитал ровные, твердые буквы совершенно равнодушно, машинально отмечая их мыслью и собирая в слова. Когда же они кончились и остановились во всей грозной наготе своего значения, он весь подобрался и стиснул зубы, готовый отразить грядущий удар. Только теперь совершенно ясно и определенно Сергей понял, что этого не будет и не могло быть. Там, где оглушенный, пылающий мозг дает обещания и падает грань между жизнью и смертью в тяжелом угаре судорожной борьбы, там есть своя правда и логика. А там, где хочется жить, где хочется есть, пить, целовать жизнь, подбирая, как драгоценные камни, малейшие ее крохи, там, быть может, нет ни правды, ни логики, но есть солнце, тело и радость.

В углу, где коробились порванные обои, показались далекая мостовая, люди, фонари, вывески. Толпятся лошади, экипажи. Кто-то едет... Кто-то бледный, с липким холодным потом на лице и грозой в сердце подымает руку, и все хохочет вокруг гремящим, страшным смехом и рушится...

Воробьи трещали за окном жадными, назойливыми глотками. Гроыхали скачущие телеги, стучал топор. Далекий город встал перед глазами, окруженный лесом труб и стадами вагонов. Он шумно, тяжело дышал и смеялся в лицо Сергею звонким, металлическим смехом, весь пропитанный мрачным, фанатическим налетом горения мысли.

Там, в центре кипучей, бешеной лихорадки нервов, огромный механизм жизненных сплетений неустанно ковал в сотнях и тысячах сердец волны чувств и настроений, окружая Сергея немой, загадочной силой порыва. Но как тогда измученный дух рвался к расплате с палачами жизни, так теперь было понятно и просто, что умирать он не собирался, не хотел и не мог хотеть.

Он никогда не забывал о яркой, лицевой стороне жизни, и жадность к ней росла по мере того, как отъедалось и отдыхало его обессиленное, издерганное тело, полное сильной, горячей крови. Шли дни – он жил. Вставало солнце – он умывался и улыбался солнцу. Дышал свежим, пьяным воздухом, пьянел сам, и все казалось веселым и пьяным. Земля обнажалась перед ним день за днем, пахучая, сильная, и зеленела. Тяжелело и росло тело, полное смутных желаний.

Было просто и хорошо, и хотелось, чтобы всегда было так: ясно, хорошо и просто.

Друзья и знакомые или те, кого он считал друзьями и знакомыми – походили теперь на маленьких, смешных и крикливых воробьев. Жизнь пела вокруг них, красивая, трепетная, а они шумели и прыгали, стараясь перекричать жизнь. Рядом с этой картиной сверкнули бледные, измученные, издерганные лица, голодные глаза, вечно голодные мозги, вечно окаменевшие в муках сердца. Теперь он уже ясно видел полчища голов, горы книг и скупые, неудобные квартиры, похожие на лица старых девушек. Ставил прошлое на шаткие, слабые ноги и смотрел. Краски стерлись, погасли тона, но контуры те же, резкие и угловатые. Кровью, своей и чужой, вписаны они. Только образы женщин и девушек, ясные и светлые, смягчали фон, как цветы – иконостас храма. Так строки великого поэта, взятые эпитафией к труду ученого, оставляют свой душистый след в кованых, тяжелых страницах...

И ревность к своей вере, неутомимая, гневная, тяжело дышит, готовая обрушиться всем арсеналом отточенной, жалящей и ранящей аргументации. А дальше, в углах, скрытых мраком, ползают гады и гудит тоскливый плач, сливая в одном потоке слезы бессилия, вздохи раба, тупую, скотскую злобу и детское, кровавое непонимание...

Сергею вдруг стало тяжело, противно и жалко. Взволнованный, слушая торопливый, таинственный шепот крови – он стоял и все еще не решался давно уже и бессознательно готовым решением порвать бег мысли. И, наконец, подумал то, что таилось внутри, быть может, там, где крепкое, цветущее тело возмущенно отвергало холод смерти. Коротенькая, в три слова была эта мысль:

– «Ни-за-что!»

И хотя после этого стало спокойнее и беззаботнее, все же было досадно на себя и чего-то жаль. Досадно потому, что и он, как многие, оказался способным создавать мысленно красивые, смелые дела. В периоды острых, нервных подъемов воображаемого подвига так приятно умирать героем и вместе с тем радоваться, что ты жив.

За окном по-прежнему неугомонно и настойчиво кричали воробьи, и в крике их слышалось:

– Здесь есть один воробей – я! Чир-рик!..

Сергей вздохнул, открыл глаза и поднялся со стула. Потом усмехнулся, сладко зажмурился, зевнул и, спохватившись, быстро сжег письмо. Оно вспыхнуло и упало легким серым пеплом. Затем повернулся на каблуке, снял со стены старенькое одноствольное ружьецо и вышел из комнаты.

У ворот он встретился с черными спрашивающими глазами Дуни. Она сидела на лавочке, подогнув ноги, и ловко, быстро лущила семечки. Черные, с блеском, волосы ее были заплетены в тугую, длинную косу и украшены желтым бантом, а розовое лицо на фоне серого, дряхлого забора казалось цветком, пришпиленным к сюртуку лавочника.

– На охоту, Сергей Иванович? – спросила она, сплевывая шелуху. – Вот уж Митьки Спиридонова-то нет. Уж он бы вас в такие ли места свел! Сам ходил, бывало, – весь птицей обвешан, страсть что полевал!..[1 - Полевал – здесь: охотился на полевую дичь.]

– Здорово! – сказал Сергей, разглядывая пестрый ситец Дуниной кофточки, плотно обтянувший тонкое, круглое плечо. – А где же он?

– Далеко – отселе не видать! – рассмеялась девушка. – В солдатах, в Костроме.

– Здорово! – повторил Сергей и улыбнулся. Отчего-то стало смешно, что Митя Спиридонов ушел в солдаты и, остриженный, скрученный дисциплиной по рукам и ногам, делает разные вольты.[2 - Вольт (франц. volte) – поворот.]

– А вы, Дуня, пойдете со мной! – пошутил он. – С вами вдвоем, я думаю, мы много настреляем.

– Чего ж я? – хладнокровно сказала Дуня и, помолчав, добавила: – Да и нельзя. Тетка звала подомовничать. Ребята у ней сорванцы, того гляди – дом сожгут... Выдумали тоже!

– А кататься ведь поедете?

– Так ведь то кататься, а не по болоту, юбки задрав, кочкарник месить!

– с живостью возразила девушка. – Какой вы, Сергей Иванович, смешной, право!

И она весело, со смехом блеснула ровными, белыми зубами. Сергей стоял, улыбаясь ее веселью, здоровью и солнцу, бросавшему жаркие тени в углы заборов, поросшие густой, темно-зеленой крапивой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Примечания

1

Полевал – здесь: охотился на полевую дичь.

2

Вольт (франц. volte) – поворот.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/aleksandr-grin/karantin>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)